

у норвежцев на кабеле имелись разъемы, хвост разобзили, так что трал остался цел.

Через два дня кабель все-таки перерубил катер-лихач. Напрочь. Терпение у норвежцев лопнуло, они обратились со срочной жалобой в Лондон, в Комитет Свободной Практики и вскоре получили ответный факс:

"Рекомендуем вывешивать на плавучем поисковом элементе мерцающие сигнальные огни.

Старший инспектор ИМО

Владислав Чаус

Лондон"

ЗАО стали называть Заячьим объединением, а ковш лимана, где ошвартованы плавмастерские, Заячьей губой.



Прогулка по комнате

Странно и жутковато, что самое прекрасное и жаркое лето тоже кончается, что неожиданно подкрадывается мгновение, когда сидишь, поеживаясь и слегка недоумевая, в своей комнате, прислушиваясь к дождю снаружи, окруженный серым, слабым, прохладным, лишенным сияния, слишком хорошо узнаваемым светом. Только недавно, только вчера вечером вокруг был другой мир и воздух, играли теплые розовые блики над нежными полями вечерних облаков, пел глубоко и пронзительно солнечный свет над лугами и виноградниками — и вдруг просыпаешься после почти бессонной ночи, вглядываешься удивленно в серый тусклый день, слышишь прохладный размеренный стук дождя по листьям за окном и знаешь: все прошло, теперь осень, и скоро наступит зима. Наступает новое время, другая жизнь — жизнь в комнате, при свете лампы, с книгами и иногда с музыкой, жизнь, в которой тоже много прекрасного и глубокого, но переход к ней тяжел и неприятен, она начинается с озноба, грусти и внутреннего сопротивления.

Моя комната мгновенно преобразилась. Несколько месяцев она была полным воздуха приютом для часов покоя и работы, прибежищем с распахнутыми дверями и окнами, сквозь которые струились ветер и запах деревьев, и лунный свет. Я бывал в этой комнате только гостем, только ради недолгого отдыха или чтения, настоящая жизнь протекала не здесь, а снаружи, в лесу, у озера, на зеленых холмах, во время рисования, прогулок, путешествий, в легкой необязывающей одежде, в тонком льняном пиджаке и рубашке с открытым воротом. И теперь внезапно комната опять стала важна, стала домом — или тюрьмой, постоянным обиталищем.

Только когда переход совершен и камин разожжен, удастся смириться и привыкнуть быть взаперти и вести комнатное существование, которое может оказаться вполне приятным. Но сейчас оно неприятно, я слоняюсь от окна к окну, вижу горы (над которыми еще вчера покоилась светлая лунная ночь), укутанные тучами, вижу и слышу холодный дождь, падающий в листву, хожу опять и опять, зябну и все-таки нахожу теплую тяжелую одежду, в которую успел облачиться, избыточной. Ах, где же времена, когда до полуночи можно было сидеть в одной рубашке на террасе или в лесу, под высоким, тихо шелестящим листьями деревом!

Самое время приучать себя опять к своей комнате, полагая тучи и дождь снаружи второстепенными, а комнату — главной. Завтра я начну обогревать ее, а, может, еще и сегодня, это требует множества тягостных, скучных и неприятных приготовлений. Разжигание камина было бы слишком серьезной уступкой погоде, полным соглашательством и к тому же слишком ранним началом зимовки. Время ее еще не пришло. Пока я попытаюсь обойтись прохаживанием взад и вперед, потиранием рук, легкими гимнастическими упражнениями. И потом, приходит мне в голову, еще прошлой осенью обзавелся я керосиновой печкой, таким круглым ржавым жестяным кувшином, который нужно отыскать и привести в действие. Это будет неприятно, штукovina окажется закопченной, просмоленной и липкой от присохшего масла, и пока ее удастся установить, наполнить и разжечь, довольно будет злости и вони, и грязных пальцев. Ну что же, от этого никуда не деться завтра или даже сегодня, если холода не отступят. Но прежде, чем я отважусь на эти процедуры, померзну-ка я еще немного, поброжу по комнате, посмотрю в окна, поперевдвигая книги, поперебираю листы в своей летней акварельной папке. И постепенно мне станет понятно, что за последние месяцы я очень мало присматривался к своей старой комнате и почти забыл, как она выглядит. Теперь я разглядываю ее опять, я должен опять с ней сблизиться и подружиться.

Хорошо заметно, что здесь долгое время жили как придется, а не так, как надо. В углах комнаты, над старым зеркалом, над книжными шкафами висит много покрытой темной пылью паутины, которую при случае следует убрать. Покрыты пылью столы и стулья, повсюду лежат вещи, которые иногда откладываются в сторону, чтобы потом долго не попадаться в руки. Кругом громоздятся папки с эскизами и рисунками, кучи корреспонденции, пузырьки с клеем, с тушью для рисования, с фиксатором, пустые сигаретные пачки, картонные коробки. Только за этим слоем беспорядка узнаю я опять старую комнату и старые вещи, и все опять обретает значение и требует внимания.

В темной высоте между двумя окнами висит маленькая староитальянская Мадонна, купленная когда-то, очень давно, у старьевщика в Брешии, — одна из немногих вещей, которые сопутствовали мне во все периоды и перемены моей жизни. Она, старые книги и большой письменный стол есть осязаемые куски моей памяти. Прочие предметы мебели принадлежат квартирной хозяйке. Но и к ним я проникся доверием за десять лет, наблюдая, как они постепенно стареют. Небольшой мягкий стул возле письменного стола изрядно просижен, из-под старой зеленой обивки

просвечивают его внутренности, милое канапе стало несколько жестче и продавленное. По стенам развешены мои акварели, меж ними — голова кисти Эль Греко, красивое изображение юного Новалиса, портрет одиннадцатилетнего Моцарта. На библиотечном табурете стоит большой фатальный ящик с сигарами, еще наполовину полный, я приобрел их по случаю, и они не сохранились в целости. Я сам заглядываю в ящик и угощаю сигарами почтальона, и, время от времени, кто-нибудь из гостей берет сигару, раскуривает ее и, увлекшись разговором, забывает в пепельнице.

Но в этой комнате есть и еще более милые и дорогие вещи, которые собирались годами и к которым я очень привязался. Невиданный плюшевый зверь загадочно стоит на карнизе, наполовину олень, наполовину жираф, с растерянным сказочным взглядом. Это творение Саши, художницы, которая когда-то, одновременно со мной, выставила в одном из швейцарских городов целый зал небольших работ. Поскольку нам обоим ничего не удалось продать, мы решили хотя бы поменяться, она получила мою картинку, а я — эту тихую стройную газель или лань, или как ее еще можно назвать; я ее очень люблю, она долгое время служит мне единственным домашним зверем, заменяя лошадь, собаку и кошку.

Здесь же памятки из Индии — прежде всего, маленький ярко размалеванный деревянный божок и крошечный играющий на флейте Кришна из желтой бронзы, который часто дождливыми зимними вечерами наигрывал мне индийскую музыку и помогал принимать всерьез суровую оболочку бытия не больше, чем того заслуживает мимолетный внешний мир. Поодаль стоит слегка упрятанная странная цейлонская священная реликвия, очень старая вещь, также из бронзы. Это вебрь, исполнявший прежде на Цейлоне, в одном из простеньких капищ, ту же службу, что и козел отпущения в Ветхом Завете. Раз в году на этого вебря переходили грехи, болезни и злые демоны целой общины. Он несет в себе проклятия многих, он жертвовал ради многих. Когда я смотрю на него, я не особенно раздумываю об Индии и о старых культах, он для меня не редкая вещица, а скорее символ, он мне брат среди нас, отмеченных знаком, ясновидцев, шутов и поэтов, с их покрытыми стигмами душами, несущих на себе проклятия эпохи, в то время как их современники танцуют и читают газеты. Этот вебрь — также дорогая для меня вещь.

На раскинутом канапе лежит множество подушек, и одну из них я особенно ценю. На черном фоне вышита картина в светлых тонах: Тамино и Памина, идущие сквозь костер во время испытания огнем. Тамино дер-

жится гордо и прямо, и во рту его волшебная флейта. Та, что любила меня когда-то, вышла это для меня. И так же, как сохранилась у меня ее красивая подушка с чудной символической картинкой, хотелось бы мне, чтобы и в ее душе осталось от меня что-то ценное!

Из вещей, которые сопутствуют мне с недавнего времени, мне особенно дорога красивая стеклянная ваза в форме старинного кубка, подарок моей подруги. Чаще всего в этом прозрачном кубке стоят несколько цветков, цинний или гвоздик, или маленькие изящные полевые цветы. Когда я впервые увидел кубок и получил его в подарок, в нем стоял букет светло-голубых дельфиниумов, я очень хорошо его запомнил, такой воздушной и неземной казалась голубизна над бесцветностью стекла. Тогда стояло сияющее лето, и по вечерам предпринимались прогулки по лесным окраинам, вдоль виноградников, которые еще не успели отцвести, и голубой, как дельфиниумы, висел над нами летний небосвод.

Холодает, и дождь усиливается. Дождь падает на цветы, на голубой виноград, на переменившие окраску леса. Мне приходится отправиться на поиски керосиновой печки, и перед этим мерзким маленьким идолом пасть на колени и ублажать его, чтобы он, возможно, разгорелся опять и давал тепло. Маленькая цветочная ваза пуста. О, какими голубыми и летними были цветы в ней когда-то!



СНЫ

С моря донесся протяжный парходный гудок. Доктор Цамакион вздрогнул и оторвался от рисунка. Он долго глядывался в темноту через раскрытую балконную дверь, как будто старался уловить нечто, витавшее в невидимом пространстве. Ему почудилось, что меж деревьев скользнула тень, а, может, то было дуновение, вызвавшее движение веток... Но нет... Оно затаилось... и следило за ним... Он медленно повернул голову и подставил ухо к дверному проему, прислушиваясь к ночным звукам... Ничего... Должно быть, убежало... спряталось... но Оно вернется, еще сегодня... во сне... Он бросил взгляд на рисунок — оскалившийся в злобной усмешке паук в центре огромной паутины, из которой рвется терзаемый мозг...

Георгий Дмитриевич отложил перо и вышел на балкон. В ночном воздухе запахи были острее — пряность акации и дурман ночных цветов путали мысли. Он поднял голову... Перед балконом метнулась летучая мышь... Снова что-то зашевелилось в листве... Доктор глубоко вдохнул и решительно шагнул к решетке. Он расставил руки, словно собирался взлететь над деревьями, чтобы устремиться к морю, замереть над ночной водой и нырнуть глубоко, до самого дна, где прятались его кошмары — огромные рыбы с пастью дракона... Голова закружилась... Он оперся о перила и долго стоял, наклонясь.

Дни завершались ритуальной проверкой замков и кефиром перед сном. Марфа Викторовна целовала мужа в лоб и отправлялась в спальню; он ладонями растирал виски перед тем, как взяться за перо или кисть... Рисование сделалось для него отдушиной — будоражило воображение, отвлекая от тревоги, давно ставшей привычной спутницей.

Письма от дочери на грубой желтой бумаге приходили два раза в год. После прочтения очередного письма Марфа Викторовна уносила его в спальню, прижимала к губам и долго молилась перед потертыми образами, которые извлекла на свет после ареста Лиды.

Вслед за дочерью забрали брата и золовку Марфы Викторовны, потом его друзей и коллег по медицинскому институту... Тоскливая неизбежность приближала момент знакомого визга тормозов, топота по мраморной лестнице, грохота кулаков в дверь... Странно, но за ними не приходи-